

Французскіе толстовцы.

Передъ нами критическая статья Мориса Спронка, дѣльно и безпристрастно разбирающая религіозно-нравственное ученіе графа Толстого и вліяніе его на нѣкоторыхъ французскихъ романистовъ. Она навела насъ на мысль сказать нѣсколько словъ объ отношеніи французской прессы къ русской литературѣ вообще и къ доктринамъ графа Толстого въ особенности.

За послѣднее время, въ интеллигентныхъ сферахъ «дружественной» намъ націи замѣтенъ интересъ къ русской литературѣ, къ движенію нашей мысли, болѣе добросовѣстное отношеніе къ изученію нашихъ правовъ и національных особенностей. Конечно, это не значитъ еще, чтобъ эти господа вполне отрѣшились отъ мысли, что мы варвары, — да и подлежитъ великому сомнѣнію, способны-ли французы поставить какую-либо другую націю на одну доску съ собой, по культурѣ и развитію, — но дѣло въ томъ, что значительный прогрессъ относительно взгляда на русскихъ писателей и мыслителей ощутителенъ. Всякій парижскій журналъ считаетъ своимъ долгомъ подносить читателямъ переводы съ русскаго; лучшіе наши авторы почти все знакомы французской публикѣ, и надо сознаться, что переводы эти весьма недурны. Въ послѣднее время во французскихъ романахъ, (Шербилле, П. Маргерита, Бурже и даже маститаго Зола) встрѣчаются герои и героини русскіе, — правда, съ чудовищными и небывалыми фамиліями, — но все-таки обязательно на *оъ* или *скій*, — и нерѣдко очерченные въ весьма симпатичныхъ краскахъ. Правда, что рядомъ съ разумной, развитой женщиной, достойной составить счастье *даже* *француза* (Sonia, — уменьшительное Nitchka, въ романѣ «Ma grande» Поля Маргерита) фигурируетъ взбалмошная, безтолковая, вульгарная мать ея, которая долженствуетъ принадлежать къ высшему русскому обществу и не умѣетъ даже прилично держать себя: или напр., выставленъ типъ, якобы, передовой русской женщины. княгини Гуловой, (Samuel Brohl et & Виктора Шербюлье), поте-

рившей хорошее зрѣніе отъ чрезмѣрныхъ занятій естественными науками, при помощи микроскопа, — но циничной, безсердечной, развратной женщины, мыкающей всю жизнь по всему свѣту отъ бездѣлья и ищущей любовныхъ развлеченій. даже подъ 60 лѣтъ, — очевидный шаржъ. Конечно, порой, дѣло не обходится безъ курьезовъ. — такъ Викторъ Шербюлье воображаетъ, что ѣзда на перекладныхъ означаетъ способъ путешествія въ невѣроятномъ экипажѣ. называемомъ «*répécladnoi*», и подробно описываетъ этотъ экипажъ, незнакомый ни одному русскому человѣку, — гдѣ вмѣсто сидѣнья натянута сѣтка изъ веревокъ и злополучный путешественникъ уподобляется пробкѣ, при игрѣ въ волянь... Не припомнимъ, въ какомъ именно романѣ, тройка («*troika*») — тоже означаетъ экипажъ, особенный, невѣдомый цивилизованнымъ націямъ. Послѣднія двѣ подробности конечно пустяки и мелочи, и мы упомянули о нихъ ради курьеза, показывающаго. съ какимъ потѣшнымъ апломбомъ французъ можетъ объяснять то, чего не понять. Будемъ довольны ужъ тѣмъ, что французскіе писатели перестали думать, что въ Россіи вѣчная зима, и что по нашимъ улицамъ бродятъ, не стѣсняясь, медвѣди... Вѣдь воображали же они одно время, что нигилистъ и скопецъ — одно и тоже! Теперь они этого не воображаютъ, а поняли истинное значеніе этого термина, и нельзя не упомянуть, что, блаженной памяти, нашъ нигилистъ до сихъ поръ внушаетъ имъ священный ужасъ и составляетъ въ ихъ глазахъ пугало. способное на всякія безцѣльныя и нелѣпыя мерзости, изъ единственной любви къ разрушенію и уничтоженію (*Germinal*, Эмиля Зола).

Но оставя въ сторонѣ эти предвзятые взгляды при выборѣ нѣкоторыхъ русскихъ типовъ, взгляды слишкомъ еще укоренившіеся во французскомъ обществѣ, чтобы оно сразу могло отрѣшиться отъ нихъ, мы все-таки должны признать, что за послѣднее время интересъ, возбужденный нашимъ отечествомъ во Франціи, хотя и зиждется на эгоистической подкладкѣ, тѣмъ не менѣе побуждаетъ нашихъ «друзей» поглубже и посерьезнѣе относиться къ нашей умственной жизни.

Время отъ времени, нашъ великій художникъ и убѣжденный проповѣдникъ, графъ Л. Н. Толстой, издаетъ во Франціи свои брошюры и книги, подъ мистическими заглавіями: *Que faire? — Ce qu'il faut faire. — Marchez pendant que vous avez la lumière. — Le salut est en vous.* На эти произведенія обращено было должное вниманіе французской критики, которая видитъ въ нихъ выраженіе «ново-христіанской религіи въ Россіи».

Эмиль Геннекэнъ предсказываетъ въ самомъ близкомъ будущемъ громадное вліяніе русской литературы на направленіе мысли

во Франціи, и мы едва-ли ошибемся, если скажемъ, что вліяніе Достоевскаго и гр. Толстого—въ особенности послѣдняго, — уже чувствуется и въ настоящее время.

Прочтите послѣдній романъ Рони, «*L'impérieuse bonté*», или «*Valbert*» (о которомъ мы поговоримъ подробнѣе ниже) Теодора Визева, — и вамъ станетъ ясно, какимъ ученіемъ вдохновлены эти оба автора, бесспорно талантливые и передовые.

Новыя доктрины гр. Толстого приобрѣли европейскую извѣстность. Въ нашъ вѣкъ нравственной неудовлетворенности, исканій истины и примиренія съ жизнью. передовые умы всѣхъ націй съ жадностью схватились за ученіе графа, проникнутое глубокимъ убѣжденіемъ, опирающееся на твердый примѣръ его личной жизни и приведшаго, повидимому, его самого, къ душевному равновѣсію и спокойствію. послѣ многолѣтней борьбы, тяжкихъ недоумѣній. безпристрастнаго изслѣдованія своего внутренняго міра. Появилась даже, можно сказать. «*мода*» на «новую религію гуманности». попытка націонализировать ее въ Англіи. Германіи, Италіи... Насколько удачны эти попытки. мы не будемъ разбирать. — насъ только занимаетъ судьба этой «религіи» на почвѣ французской. ея адепты и критики.

~ ~

Гг. Шредеръ и Дюма, не всегда согласные въ своихъ критическихъ взглядахъ, — въ одномъ пунктѣ вполне сходятся; первый говоритъ: «дѣйствительное величіе гр Толстого заключается въ его твердой, личной нравственности». Другой выразился такъ: «интересъ ученія гр. Толстого сосредоточенъ въ высокомъ, поучительномъ примѣрѣ самого учителя... — примѣрѣ поразительномъ, краснорѣчивомъ, небываломъ въ исторіи нравственнаго развитія человѣчества!» И на самомъ дѣлѣ, французы сбѣты съ толку, поражены послѣдовательностью между идеями и личной жизнью графа—этого аристократа. всесторонне образованнаго. бывшаго севастопольца, гениальнаго художника, пользующагося заслуженной славой въ своемъ отечествѣ. — и вдругъ, словно озареннаго какимъ-то мистическимъ свѣтомъ (французы приписываютъ это исключительно вліянію тверскаго ясновидящаго), удаляющагося въ свое тульское имѣніе и стойко ведущаго первобытную, скромную жизнь философа-труженика. Для нихъ графъ представляетъ типъ недостижимой, «вышей святости». — «Онъ роздалъ свое громадное состояніе, поселился среди меньшихъ братій и раздѣляетъ смиренные труды ихъ: пахать, косить. шить обувь; умственная жизнь его проявляется въ видѣ выясненія своихъ религіозныхъ и нравственныхъ воззрѣній. глубоко и всецѣло охватившихъ его

душу, и которымъ онъ неуклонно слѣдуетъ примѣромъ всей своей личной жизни. Онъ воплотилъ собой идеаль коммунизма, занимавшаго многое множество мечтателей, начиная съ Христа, его послѣдователей, аскетовъ и вдохновенныхъ отшельниковъ среднихъ вѣковъ и кончая Ж. Ж. Руссо». (Maurice Spronck, *Le tolstoïsme en France*).

Далѣе критикъ отдастъ справедливость графу, что онъ вполне искрененъ и великъ въ примѣненіи принциповъ, апостоломъ которыхъ онъ можетъ по справедливости назваться. Ни тѣни позирования, или рисовки, глубокая убѣжденность. безъ притязанія на какія-нибудь настоящія или будущія выгоды. Что касается до самаго ученія, то, въ этомъ отношеніи, авторъ критической статьи признаетъ за собой право видѣть въ немъ много туманности и неудовлетворительныхъ выводовъ. «Если бы не несомнѣнный успѣхъ его идей,—говоритъ онъ,—не стоило бы труда серьезно анализировать ихъ».

Какъ ни рѣзокъ можетъ показаться, съ перваго взгляда, такой приговоръ, но, безпристрастно вникнувъ въ вопросъ, нельзя не сознаться, что французскій критикъ, съ своей точки зрѣнія, правъ. Графъ Л. Н. Толстой признается, что въ теченіи 35 лѣтъ онъ былъ «нигилистомъ», — т.-е. не революціоннымъ социалистомъ, а тѣмъ, что французы буквально понимаютъ: «человѣкомъ *ничего* не признающимъ». Но настала возрастъ, когда отрицаніе *всего* огуломъ, убаюкивающій индифферентизмъ, пересталъ удовлетворять его; онъ оглянулся вокругъ и сталъ размышлять; жизнь показалась ему нелѣпой, лишенный смысла, безнадежно подчиненной случайнымъ болѣзнямъ, страданіямъ, старости и смерти. Мысль о самоубійствѣ промелькнула передъ нимъ, но, не остановившись на этомъ исходѣ, онъ продолжалъ горестно раздумывать о значеніи и цѣли людского существованія. Наконецъ, пелена, окутывавшая его, прорвалась, — онъ увидѣлъ свѣтъ и понялъ, что всѣ наши страданія происходятъ отъ собственныхъ заблужденій и незнанія истиннаго пути; онъ *прозрѣлъ* и былъ *спасенъ*.

Да, *спасенъ*, — потому что нѣтъ другого выраженія, могущаго объяснить внезапность его просвѣтленія и непонятнаго откровенія, отверзшаго его духовныя очи.

Этотъ переходъ остается совершенно непостижимымъ французскому критику (да и ему-ли одному!); въ его глазахъ, вся философія графа сбивчива, неясна, противурѣчива, и вовсе не разъясняетъ текстовъ, на которые опирается. Не основана-ли она вся на необъяснимомъ *откровеніи*, на внутреннемъ *чутьи*, не опирается-ли на аргументы, въ родѣ: *мнѣ стало ясно, я понялъ, очевидно, следовательно?*..

Левинъ. также какъ и *Вальбергъ* Теодора Визева. прямо заявляютъ. что съ ними совершилось *чудо*,—что они прозрѣли и увидѣли свѣтъ. благодаря *чуду*.

Практическій умъ француза отказывается принимать и признавать это *чудо*. Самое существованіе мистиковъ. «божѣиыхъ людей» изъ просто народа. имѣющихъ даръ презрѣвать *истину* и разъяснять ее Левину и гр. Толстому—для него непостижимо и невѣроятно. «Вездѣ громовой ударъ,—говоритъ онъ,—какое-то внутреннее чувство. которое. по мнѣнію гр. Толстого, мгновенно и безошибочно способно указать намъ *абсолютный. нравственный законъ*, неопровержимо. безспорно рѣшить какой-нибудь вопросъ!» Но. для французскаго критика, эти *указанія* и *рѣшенія* подлежатъ великому сомнѣнію и требуютъ болѣе солидныхъ доказательствъ. Онъ просто-на-просто приходитъ къ заключенію, что это хаотическая тьма, въ которой нѣтъ возможности разобраться.

Вслѣдствіе такого безотраднaго вывода, онъ рѣшается сдѣлать попытку принять ученіе какъ оно есть. на вѣру, не мудрствуя лукаво.

Значить, надо исходить изъ того. что жизнь дурна. потому что мы эгоисты. живемъ каждый для себя; а чтобы сдѣлать ее хорошей. надо забыть свое личное *я*. слиться съ остальнымъ человечествомъ. жить для другихъ. пріискуситься безграничнымъ альтруизмомъ. Этого результата можно достигнуть: уничтоженіемъ всѣхъ установленныхъ властей. официальныхъ представителей церкви. бюрократіи и арміи. — словомъ. всего. что человечество приобрѣло съ утратой своихъ примитивныхъ инстинктовъ. подчиняясь развитію и культурѣ; науки. искусства.—все это ненужный хламъ. путающій насъ въ дебряхъ заблужденій; богатство. роскошь. слава. чувственные наслажденія—ничто иное какъ помѣха единственно достойной и нужной добродѣтели — всеобъемлющей. безкорыстной любви къ ближнимъ.

Критикъ усматриваетъ во всемъ этомъ нагроможденіе противорѣчій. «Отчего.—спрашиваетъ онъ.—въ одномъ мѣстѣ (*Se qu'il faut faire?*) графъ выставляетъ материнство. какъ единственное назначеніе женщины. а въ другомъ (*La sonate de Kreutzer*). произноситъ осужденіе надъ половыми отношеніями.—«въ которыхъ только стыдъ. страданіе и отвращеніе».—даже между супругами? Зачѣмъ эти мечты о благѣ и счастіи человечества. если подавивъ и уничтоживъ естественное влеченіе половъ. мы уничтожимъ самое продолженіе человѣческаго рода? Невольно рождается вопросъ: слѣдуетъ-ли любить жизнь и стоитъ-ли доискиваться ея смысла, если желательно прекращеніе ея? Не лучше-ли стремиться къ небытію. какъ къ блаженной цѣли?»

Чтобы разобраться въ этой путаницѣ и найти ей правдоподобное объясненіе, Шредеръ и Дюма дѣлають невѣроятныя усилія ума.

«Несмотря на измѣненіе своихъ взглядовъ,—говорить одинъ,—самое основаніе доктрины графа остается то же, отъ перваго его произведенія до послѣдняго».

«Онъ создалъ,—объясняетъ другой,—грандіозную, законченную систему, обнимающую всё религіозныя и соціальныя вопросы».

Но этотъ горячій панегирикъ не удовлетворяетъ Мориса Спронка, онъ приписываетъ подобныя трескучія и помпезныя фразы искреннему увлеченію *личностью* самого графа, его авторитетностью и благородствомъ его побужденій. Для Оомы невѣрнаго, реального критика, такихъ доказательствъ мало, онъ требуетъ болѣе вѣскихъ, болѣе обстоятельнаго разбора проповѣдей. По его мнѣнію, *ремля* графа радикально уничтожаетъ *личность*. Жизнь становится не только приготовленіемъ къ смерти, — но блѣднымъ подобіемъ ея. Окончательное распаденіе клѣточекъ, связывающихъ организмъ человѣка, — не болѣе какъ незамѣтная случайность.

«Юлій достигъ душевнаго мира, къ которому онъ такъ стремился; онъ сталъ жить и работать, насколько силъ хватало, для блага другихъ. Такъ прожилъ онъ двадцать лѣтъ, и его душа, познавъ полное блаженство, не давала ему времени замѣтить медленное приближеніе физической смерти».

Критикъ приходитъ въ совершенный ужасъ и называетъ это *блаженное* состояніе «мечтой всемірнаго нигилизма», «буддистской нирваной» — проникается безотраднымъ отчаяніемъ и опасается, что все ученіе графа, суля разумному существу подобное счастье, сознательно или безсознательно приглашаетъ его къ самоубійству. Если такой исходъ не названъ своимъ именемъ. то ученіе. по его мнѣнію, вполне подготовляетъ къ нему, описывая всю прелесть небытія, заглушающаго даже сознаніе надвигающейся *физической смерти*, дѣйствуя на поработщенное воображеніе, какъ нѣкоторые соблазнительныя и опасныя яды, которые убиваютъ медленно и безъ страданій и затуманивають разсудокъ до того, что онъ не ощущаетъ приближенія смерти...

* * *

Одинъ изъ самыхъ убѣжденныхъ и горячихъ послѣдователей гр. Толстого — Теодоръ Визева, о которомъ мы уже упоминали выше. Откинувъ добрую часть мистицизма изъ доктринъ учителя, Визева старается пересадить ихъ на французскую почву. Онъ, очевидно, знаетъ, что своихъ соотечественниковъ мистицизмомъ не заманишь, и, оставивъ въ сторонѣ духовныя отвлеченности,

представляет своего героя, Вальбера, *до* обращенія къ истинному ученію и *послѣ*. Но. положи руку на сердце, трудно сказать, который изъ двухъ предпочтительнѣе, а главное—возможнѣе, правдоподобнѣе? Вальберъ, *до* своего просвѣтленія, погруженный въ умственный трудъ, не дающій ему времени на непосредственное чувство къ человѣчеству, страдаетъ самъ и заставляетъ страдать окружающихъ, вслѣдствіе своего внутренняго разлада. Авторъ хочетъ изобразить его въ этотъ періодъ неприятнымъ, отталкивающимъ. Но вотъ онъ переродился... Постигъ суть и цѣль жизни... Сталъ-ли онъ симпатичнѣе? Отвѣчаетъ-ли онъ, по крайней мѣрѣ, требованіямъ природы, условіямъ жизни *съ міру* — а не въ монастырскихъ стѣнахъ, или въ общинѣ аскетовъ? Это по меньшей мѣрѣ сомнительно. Мысль, что знаніе и культура составляютъ зло и ведутъ къ несчастію,—не нова; начиная отъ міаа о запретномъ плодѣ, составляя суть пессимизма Экклезіаста. мысль эта. съ грустнымъ краснорѣчіемъ, выражается у автора «Вальбера» словами:

«Развитіе ума прибавляетъ лишніа страданія и недовольство жизнью; приобрѣтая знанія. человѣкъ дѣлается несчастнѣе».

Страдавшіе и нравственно-неудовлетворенные люди во все вѣка твердили эту мысль на все лады. Но если умственные способности—роковой даръ, если этотъ даръ можетъ доставить лишь временное счастье. которое искупается годами горя и страданій. словомъ. если сравнить этотъ даръ съ возбуждающимъ средствомъ. въ родѣ алкоголя, то не будетъ-ли лекарство, предлагаемое авторомъ «Вальбера» (вдохновеннымъ ученіемъ гр. Толстого). похоже на замѣну алкоголя опиѣмъ или морфіемъ? Засни. бѣдный. неудовлетворенный человѣкъ, наведи искусственное забытѣе на твои пытливый мозгъ. и въ такой полу-дремотѣ жди спокойно смерти!

Наконецъ, откуда возьмется этотъ всеобъемлющій, безграничный альтруизмъ? Не станетъ же авторъ утверждать что, состраданіе и безкорыстная любовь къ ближнему присущи природѣ первобытнаго человѣка! Вѣдь это чувство *выработанное*, и не иначе какъ мышленіемъ, знаніемъ, развитіемъ, — именно тѣмъ проявленіемъ умственного труда, на который такъ ополчаются послѣдователи новаго ученія и который, тѣмъ не менѣе, одинъ можетъ привести извѣстный складъ ума къ сознанію радости и удовлетворенности въ абсолютномъ самоотверженіи!

Въ этомъ мистическомъ результатѣ скорѣе можно усмотрѣть высшую утонченность развитія. доведшую разумъ человѣка до полного отчаянія, до безвыходности!..

«Откройте ваши глаза. уши и сердце и закройте какъ можно плотнѣе мозгъ, этотъ источникъ смертоноснаго яда!»

Такое подавленіе интеллектуальныхъ способностей, присущихъ человѣку, врядъ ли привело бы къ цѣли, намѣченной авторомъ. а пожалуй какъ разъ наоборотъ.

Далѣе онъ перечисляетъ всю горечь, весь стыдъ и ненужность философскихъ мысленій и научныхъ изысканій. «Мыслить, имѣя цѣлью одно мышленіе,—это, на мой взглядъ, подражать балаган-нымъ акробатамъ, которые кувыркаются и прыгаютъ, единственно для того, чтобъ кувыркаться и прыгать, — и надо замѣтить, что ремесло послѣднихъ облагораживается еще тѣмъ, что они рискуютъ сломать себѣ шею, тогда какъ мыслитель не подвергается даже и этому риску».

Въ концѣ концовъ, доведя основную идею автора до идеала, надо вообразить общество, гдѣ: «физическій трудъ *для себя* составляетъ тяготу и даже униженіе, тогда какъ, предназначенный для пользы ближняго, тотъ же трудъ будетъ радостью и полнымъ удовлетвореніемъ»,—гдѣ каждый членъ не стремится ни мыслить, ни приобрѣтать знаній, ни испытывать новыхъ впечатлѣній,—словомъ, отрѣшится отъ личной жизни и заботъ о себѣ; такой *идеальный человекъ* возрадуется духомъ, видя любимую женщину счастливой въ объятіяхъ соперника, (и онъ и она—ближніе, думай исключительно о ихъ радостяхъ), въ этой общинѣ не будетъ ни ревности, ни злобы, ни скупости, ни страстей, никакого эгоистическаго чувства... Мечтать о такомъ земномъ раѣ, конечно, занятно и не лишено поэзіи; но не останется ли эта мечта въ области того же презрѣннаго умственного района, который такъ претитъ автору? А если и осуществится, то не ясно-ли, что человѣкъ, т. е. такой, какимъ онъ былъ, есть и будетъ,—исчезнетъ, а на мѣсто его явится другая порода, ни въ чемъ не похожая на насъ грѣшныхъ?

* * *

Разбирая въ короткихъ словахъ основныя мысли автора «Вальбера», мы выразили то впечатлѣніе, которое онѣ произвели на французскую критику, несочувствующую ученію гр. Толстого.

Позитивному, критическому уму Мориса Спронка непонятна эта фантастическая, гуманитарная поэзія, и онъ находитъ, что прочувствованныя страницы въ романѣ Теодора Визеа заключаютъ въ себѣ описаніе нравственныхъ волненій, исканій и неудовлетворенности героя; исходъ же, который онъ изобрѣлъ, проникнувшись идеаломъ гр. Толстого, призраченъ, утопиченъ и нежелателенъ.

«Ученіе гр. Толстаго,—говоритъ онъ въ заключеніе,—не доктрина, а извѣстное душевное состояніе умственно-неудовлетвореннаго и настрадавшагося философа. Теорія его непримѣнима, неправдоподобна, сверхъестественна, или, лучше сказать, противу-естественна. Это химера,—даже не имѣющая привлекательности.

Общество, въ которомъ не будетъ ни страстей, ни бурныхъ порывовъ, ни горя, ни пороковъ, ни преступленій,—словомъ общество кроткихъ и добродушныхъ отшельниковъ, прилаженныхъ подъ общій уровень скромнаго ничтожества, — представляетъ мало заманчивости и интереса.

«Для самой добродѣтели тамъ ужъ нѣтъ мѣста; она затрется въ плоскомъ, подавляющемъ однообразіи монотоннаго прозябанія людей и не будетъ имѣть никакой цѣны ¹⁾».

«Слащавая чувствительность, наводнившая европейскую литературу, по почину русскаго проповѣдника, эта преувеличенная, филантропическая деликатность къ страдающимъ братьямъ,—наводитъ мысль на невольное сравненіе: не то же-ли, въ нѣсколько иныхъ формахъ, происходило сто лѣтъ тому назадъ во Франціи? Вспомнимъ поразительный расходъ сантиментальности въ концѣ XVIII вѣка, стремленіе втиснуть жизнь въ первобытныя рамки физическаго труда въ поляхъ и лѣсахъ (Emile), наивные проекты вѣчнаго мира, достойнаго аббата С. Пьера, утопіи флоріанистовъ... за ними слѣдомъ шли: гильотина, терроръ и апофеозъ милитаризма!.. Допустивъ въ принципѣ, что исторія ни что иное, какъ вѣчное повтореніе, что извѣстныя причины фатально ведутъ за собой извѣстныя слѣдствія,—можно опасаться, что близится эра страшныхъ соціальныхъ переворотовъ, о силѣ и ужасахъ которыхъ мы не имѣемъ даже представленія! Проповѣди гр. Толстаго не будутъ ли играть роль роковыхъ провозвѣстниковъ, надвигающихся, неотразимыхъ соціальныхъ проваловъ? Не переживаемъ ли мы канунъ какого-нибудь великаго европейскаго кризиса?»

Къ этимъ словамъ французскаго критика намъ остается лишь прибавить, что мы отнюдь не считаемъ ихъ выраженіемъ своихъ взглядовъ на знаменитаго русскаго писателя.

Н. С.

2336

¹⁾ Это мнѣніе не ново для русскихъ читателей. Оно высказывалось у насъ, и не однажды, съ тѣхъ поръ, какъ авторъ „Войны и Мира“ круто повернулъ на новую дорогу. Но кто-бы ни высказывалъ его, французъ или нѣмецъ, или нашъ соотечественникъ, мы одинаково считаемъ его не только шаткимъ, но даже *варварскимъ*. Въ самомъ дѣлѣ, если стать за точку зрѣнія Спронка, которую мы считаемъ эстетической, то, оставаясь послѣдовательнымъ, придется признать еще болѣе удовлетворяющей запросамъ на *разнообразіе* эпоху какого-нибудь Нерона или Калигулы, каждый день которыхъ доставлялъ богатый матеріалъ для трагика или драматурга... Индивидуализмъ вещь, несомнѣнно, прекрасная, но только въ томъ случаѣ, когда всѣ „я“, изъ которыхъ складается человечество, одинаково пользуются возможностью удовлетворить запросы своей личности. Видѣть-же, такъ сказать, въ общедоступности счастья окончательное обезцѣненіе послѣдняго, значитъ не видѣть ничего.

ПОЧИТЫВАЕМЪ!..

(СТРАНИЧКА ИЗЪ ПУТЕШЕСТВІЯ ПО НАШЕМУ СЪВЕРУ).

Какъ трудно бываетъ достать интересную серьезную книгу деревенскому обывателю, да еще въ Олонецкомъ глухомъ краѣ,—городской житель даже и представить себѣ не можетъ. По цѣлымъ годамъ онъ (обыватель) сидитъ безъ газетъ и журналовъ, въ глаза не видитъ печатнаго листка и ничего не знаетъ изъ того, что творится на бѣломъ свѣтѣ... Развѣ когда-когда проѣзжіи становой, ѣдущій на вскрытіе утопленника, второпяхъ сообщить, что какой-то Макъ-Магонъ скончался въ самый полдень пятого октября,—такая ужъ точность становыхъ...

„Кто такой Макъ-Магонъ?“... въ недоумѣніи спрашиваетъ себя обыватель, не зная, печалиться-ли ему или радоваться при этомъ сообщеніи...

„Можетъ быть, этотъ,—какъ его... Макъ-Магонъ что-ли?..—былъ министръ или одинъ изъ современныхъ ученыхъ?.. А, впрочемъ, Богъ его вѣдаетъ“...

И слушаетъ деревенскій обыватель бойкаго станового, хорошо чувствующаго себя въ роли оратора, не зная, улыбаться ли ему или горестно вздыхать, сожалься о смерти такого великаго человѣка.

Что ни говори, а всякому изъ насъ трудно бываетъ сознаться предъ другимъ въ своемъ невѣжествѣ, въ своей отсталости, а тѣмъ болѣе, мнѣ кажется, деревенскому интеллигенту... Въ немъ съ годами развивается какое-то упрямство, медвѣжье самомнѣніе, что „мы, молъ, хоть и деревенскіе, а городскимъ фертамъ ни въ какомъ случаѣ не уступимъ... Что-жъ изъ того, что мы ничего не читаемъ?.. Такъ за то у насъ много природнаго ума,—ума оригинальнаго, не заимствованнаго, ко-